

## ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕК ЛИШЬ СНИТСЯ САМ СЕБЕ...

Цикл о "русском космосе"

Есть давнишняя традиционнорусская мечта о прекращении истории в западном значении, как ее понимал Чаадаев. Это мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое "миром".

О. Мандельштам

2. 1. "Ах, не надо поносить железных дорог! Это чудесная вещь... На меня они особенно благотворно действуют, потому что они успокаивают мое воображение касательно самого моего страшного врага — пространства, ненавистного пространства, которое на обычных дорогах топчет и погружает в небытие и тело наше и душу..." Повторенное слово — ключевое для процитированного отрывка из письма Тютчева жене, датированного июлем 1847 года. Размышления о тиранической власти пространства над человеком, о роли пространства как в судьбе конкретной личности, так и в судьбах целых народов составляют существенный пласт и в художественном творчестве Тютчева, и в его эпистолярном наследии, о котором еще И. С. Аксаков заметил: "Письма Тютчева, собранные вместе, стоили бы серьезного многотомного литературного произведения. "Тютчевские раздумья о пространстве — и в письмах глубоко личных, интимных. Пример тому письмо 1843 года, обращенное к Эрнестине Федоровне: "Человеческая мысль должна отличаться почти что религиозным рвением, чтобы не быть подавленной страшным представлением о дали. "Но близкие настроения и в письмах совершенно иного плана. Таково, например, письмо, адресованное графу Уварову: "Что до меня, я далеко не разделяю того блаженного доверия, которое питают в наши дни ко всем этим чисто материальным способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в политических обществах... Доказательством может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере того, как расстояния сокращаются, умы все более и более расходятся. И раз люди охвачены этим непримиримым духом раздора — уничтожение пространства никоим образом не является услугой делу общего мира..." И — ниже: "Мне сдается, что мы вправе смиренно думать, что у нас в России будет не так, что всем нам, пока мы существуем, предстоит бороться с одним действительно реальным врагом — пространством. "

"Страшный враг", "действительно реальный враг", "страшное представление о дали", "уничтожение пространства"...

Для множества подобных высказываний, мелькающих в тютчевских письмах, характерны два обстоятельства. Во-первых, они выявляют отчетливо выраженную неприязнь Тютчева в оценке и восприятии пространства. Во-вторых, почти все они прямо или косвенно связаны в сознании поэта с Россией и в основном относятся к 40-50-ым годам. Последнее не случайно: именно в этот период Тютчев возвращается на родину.

В тютчевских письмах, безусловно и прочно связанных с лирическим творчеством, просматривается тенденция, свойственная не одному только Тютчеву и затрагивающая некоторые фундаментальные пласты исторического и культурного сознания середины XIX столетия. С этой тенденцией так или иначе связаны Чаадаев и Гоголь, Вяземский и Толстой, Огарев и Герцен, но в тютчевской поэзии, пожалуй, она приобретает особое значение. Тенденция эта не единственная, она соседствует и взаимодействует и с иными принципами восприятия пространства в тютчевской лирике, о чем будет сказано далее.

В данной работе мы ставим перед собой цель прежде всего обосновать наличие в тютчевской поэзии "несобранного" цикла стихотворений, который уместно было бы определить как цикл о русском космосе. Речь идет — и это важно подчеркнуть — именно о цикле, о едином организме, а не просто и не только о теме (последняя была не единожды описана и охарактеризована в литературе о поэте). Не менее важно также уяснить и те закономерности, которые способствовали медленному "прорастанию" цикла и его формированию в системе тютчевской лирики, а также выявить отношения цикла о русском космосе с некоторыми другими "несобранными" циклами поэта.

2. 2. В цикл о русском космосе могут быть включены следующие произведения: "Здесь, где так вяло свод небесный..." (1830), "Через ливонские я проезжал поля..." (1830), "Итак, опять увиделся я с вами..." (1848), "Слезы людские, о слезы людские..." (1849)", "Русской женщине" (1848 или 1849), "Эти бедные селенья..." (1855), "На возвратном пути" (1859), "Брат, столько лет сопутствовавший мне..." (1870), "От жизни той, что бушевала здесь..." (1871). Формулировка "могут быть включены" едва ли случайна. Небесспорность предложенного перечня коренится в самой природе того жанрового образования, которым является "несобранный" стихотворный цикл.

Такие циклы, как правило, разворачиваются на протяжении долгого времени (счет нередко идет на десятилетия). Это обстоятельство, а также отсутствие авторской воли к итоговому упорядочению цикла неизбежно делают его состав и границы нефиксированными, в какой-то степени "размытыми". Но последнее, являясь одной из многочисленных структурных особенностей "несобранного" цикла, ни в коем случае не ставит под сомнение сам факт его существования. Развитие "несобранных" циклов в целом свидетельствовало о разрушении и (или) переориентации принципов традиционного жанрового мышления. Разгерметизация лирического жанра, начатая зрелым

Пушкиным, была продолжена поэтами второй половины века: Кольцовым и Бенедиктовым, Некрасовым и Фетом, Тютчевым и Полонским. "Несобранный" стихотворный цикл как будто соединил в своей структуре две важнейших культурно-исторических тенденции русской жизни: с одной стороны, стремление к консервации национальной самобытности, с другой — стремление ввести русскую национальную культуру в мировой культурный обиход. Противоборство этих двух тенденций и "воспроизводил" "несобранный" цикл в своей замкнуто-открытой структуре. Однако, по Бахтину, именно пространственно-временные

отношения определяют жанр и жанровые разновидности. Следовательно, истоки и природа тютчевских "несобранных" циклов не могут быть верно поняты без обращения к особенностям восприятия поэтом пространства и времени.

2. 3. Произведения, включаемые в цикл о русском космосе, создавались Тютчевым на протяжении четырех десятилетий — с 1830 по 1871 год. Все они связаны с темой России. При этом важно, что перед нами не Москва или Петербург, центры общественной жизни. В цикле о русском космосе разворачивается панорама русской земли, какой она видится из окна дорожного экипажа. Последнее существенно. Многие стихотворения, входящие в цикл, близки по условиям их создания. По меньшей мере семь из девяти сложились в дороге или под непосредственным впечатлением от дорог. Уже сам этот факт имеет смысло- и структурообразующее значение: в соприкосновении с темой предела и беспредельности тема дороги формирует образ пространства, характерный для данного цикла. Скажем иначе: пространственно-временные отношения формируются через взаимодействие категории предела (беспредельности) и категории пути.

П. Я. Чаадаев, давний приятель и оппонент Тютчева, писал: "Есть ли беспредельность пространства, не знаю: но знаю, что есть беспредельность времени, и что эта беспредельность, это неизмеримое продолжение, это бесконечное последование вещей есть жизнь, истинное, совершенное существование". Вопрос о самоопределении личности в открывшейся беспредельности пространства и времени мог стоять так болезненно и остро только перед культурой, находящейся в "пограничной зоне", равно готовой к обособлению и даже к самоизоляции и к открытости. Именно такой период переживает русская культура пушкинской и послепушкинской эпох. Этим обусловлена центральная тема цикла о русском космосе — Россия и история, главная его проблема — драматическое самоощущение человеческого Я в его столкновениях и связях с русским миром и историческим процессом. Не случайно, по-видимому, что первые фрагменты цикла ("Здесь, где так вяло свод небесный..." и "Через ливонские я проезжал поля...") созданы по пути из Европы в Россию или из России в Европу. Именно на грани "двух миров" своеобразие русского космоса выступало особенно рельефно. Граница между миром европейским и миром русским и есть, по Тютчеву, рубеж между началом историческим и началом внеисторическим. Для характеристики же сущности последнего решающее значение имеет восприятие пространства.

Все фрагменты цикла пронизывает стихия внеисторической жизни. Она статична и аморфна, как будто лишена возможности дальнейшего развития и предстает перед нами как некая однородная и неколебимая в своем постоянстве среда. Присмотримся к эпитетам. В стихотворении "Здесь, где так вяло свод небесный...": "тощая" земля, "железный" сон, "бледные" березы, "мелкий" кустарник, "седой мох", наконец, "мертвенный" покой; в стихотворении "Через ливонские я проезжал поля...": "бесцветный грунт небес", "песчаная" земля, "пустынная" река; в пьесе "Итак, опять увиделся я с вами...": "немилые" места, "туманные" очи, "вечереющий" день, "безлюдный" край; в стихотворении "Слезы людские...":

"бездельные", "незримые", "неистощимые", "неисчислимы" слезы, "глухая" осень, "ночная" пора. И далее, по оставшимся фрагментам: "бедные" селенья, "скудная" природа, опять – "безлюдный" и "безымянный" край, "незамеченная" земля, "осенняя, беспредельная" мгла, "голо", "пусто-необъятно" и т. п. – вплоть до "всепоглощающей и миротворной бездны", предельно сжатого и символического обобщения сущности русского космоса. Стихия "бездельного", "незримого", "незамеченного" уже представляет этот мир как исторически пассивный, лишенный энергии и способности к совершенствованию. Кажется, цикл о "русском космосе" – превосходная субъективно-лирическая иллюстрация к историософскому тезису, венчающему "Апологию сумасшедшего". П. Я. Чаадаев писал: "Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это – факт географический. Поистине: в цикле о "русском космосе" факт "географический" всецело господствует над фактом "историческим".

Подспудное противостояние русского мира миру европейскому проходит через весь цикл. В некоторых же стихотворениях из скрытого оно становится явным: имею в виду фрагменты 1849 года "Итак, опять увиделся я с вами..." и 1859 "На возвратном пути".

В. Кожин, подвергая специальному разбору первый из них, в частности писал: "Стихотворение это чаще всего истолковывается как некое отвержение Овстуга. Между тем оно говорит прежде всего о разрыве цепи времен и являет собой своего рода поэтическое преодоление этого разрыва... Пережив в нем разрыв цепи времен, поэт тем самым в той или иной мере преодолел его реально. "Существо дела, думается, не исчерпано сказанным. Не только преодоление временногоразрыва, но и утверждение разрыва пространственного – вот что создает подлинный драматизм этой тютчевской пьесы.

Стихотворение "Итак, опять увиделся я с вами..." едва ли не хрестоматийный образец того, как в границах лирического текста взаимодействуют, оттеняя друг друга, слово монологическое (одноголосое, по терминологии М. Бахтина) и слово скрыто диалогическое ("двуголосое").

Итак, опять увиделся я с вами,  
Места немилые, хоть и родные,  
Где мыслил я и чувствовал впервые  
И где теперь туманными очами,  
При свете вечеряющего дня,

Мой детский возраст смотрит на меня. [I, 107]

Перед нами торжество типично монологического слова. Драматизм едва намечен (родные места названы немилыми), он скорее угадывается, чем непосредственно явлен; еще нет восклицаний, нет никаких столь характерных для Тютчева риторических фигур, пронзительных в своей безответности. Однако уже в самом начале второй строфы высвобождается энергия "внешнего" (пока еще не скрытого) обращения:

О бедный призрак, немощный и смутный,  
Забывтого, загадочного счастья!

О, как теперь без веры и участия  
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,  
Куда как чужд ты стал в моих глазах,  
Как брат меньшей, умерший в пеленах... [I, 107]

Речь продолжает оставаться в целом монологической, одноголосой, но в ней уже есть трещины и надломы, она уже не стабильна в собственном монологизме. У такого слова уже появился двойник-оппонент, и пусть он еще безмолвствует, но с ним уже необходимо считаться, его нельзя проигнорировать.

Отсюда и наличие риторических восклицаний, резкое усложнение синтаксических структур, наконец, пронзительный драматизм финального сравнения детского возраста с братом, умершим во младенчестве, сравнения, имеющего автобиографическую основу. В заключительной же строфе уже безраздельно господствует двуголосое слово:

Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный  
Был для души моей родимым краем —  
Не здесь расцвел, не здесь был величаем  
Великий праздник молодости чудной.  
Ах, и не в эту землю я сложил  
Все, чем я жил и чем я дорожил! [I, 107]

Степень напряженности скрытой полемики напоминает здесь о внутренних монологах героев Достоевского. Структурные элементы, намеченные в средней части, в финале доведены до максимума. К уже упомянутому добавлю еще один, быть может, самый существенный для формирования двуголосости — последовательное отрицание всех тех тезисов, которыми оперирует предполагаемый двойник-оппонент ("...нет, не здесь, не этот...не здесь...не здесь...не в эту..."). Сама память оказывается парадоксально расщеплена: в последней строфе речь идет о трагической гибели первой жены Тютчева Элеоноры, и невольно ее смерть и ее могила противопоставлены смерти брата.

В структуре данной пьесы воплощены три уровня, или, точнее говоря, три стадии погружения человека в себя: от твердого, цельного монологизма через внешне оформленное обращение к напряженнейшей внутренней полемике, и каждой из этих стадий соответствует особый тип высказывания.

Оговорка В. Кожина "в той или иной мере" не случайна. Без нее непросто было бы объяснить воскрешение конфликта русского и европейского миров спустя десять лет, конфликта между "местами немилыми, хоть и родными" с "родимым краем" души. Само сосуществование в пределах одного текста понятий "родного" и "родимого", родственных, но не тождественных, говорит о многом. Родной оказывается Россия, родимой — Европа. Стремление обрести полностью исторического времени, после многолетней разлуки встреча с местами, где прошли детство и отрочество, сопровождаются катастрофическим ощущением разрушающегося исторического пространства.

Второй, еще более выразительный пример, когда противостояние русского и европейского космоса явлено со всей очевидностью, — "На возвратном пути":

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —  
Жизнь отошла —и, покорясь судьбе,  
В каком-то забытии изнеможенья,  
Здесь человек лишь снится сам себе.  
Как свет дневной, его тускнеют взоры,  
Не верит он, хоть видел их вчера,  
Что есть края, где радужные горы  
В лазурные глядятся озера... [I, 179]

Личность попадает в безымянный и безначальный, "пусто-необъятный" и "немой" мир и оказывается ассимилированной им. Единственное, что остается на ее долю в этой среде, — ностальгия по историческому миру, по краям, "где радужные горы В лазурные глядятся озера". Вообще в цикле о "русском космосе", в отличие, например, от "ночного" или "грозового" —европейских — циклов, доминирует горизонтальное видение пространства: не ввысь, а вдаль, не "небесный свод, горящий славой звездной", а вечно удаляющаяся линия горизонта.

Мир русского космоса есть бесконечная плоская равнина. Он не знает внешних примет исторической деятельности человека, более того, он безлюден; не знает он и следов активно-созидательной многовековой деятельности природы: "Бесследно все —и так легко не быть! При мне иль без меня —что нужды в том? Все будет то ж — и вьюга так же выть И тот же мрак, и та же степь кругом." [I, 224] Лишь в самом начале и в самом конце цикла мы обнаруживаем в этом пространстве слабые свидетельства природной и исторической активности. В первом случае: "Лишь кой-где бледные березы, Кустарник мелкий, мох седой, Как лихорадочные грезы, Смущают мертвенный покой." [I, 31] Во втором: "От жизни той, что бушевала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась, Что уцелело, что дошло до нас? Два-три кургана, видимых поднесь..." [I, 225] Исток и устье цикла как будто зеркально отражены друг в друге.

Таков, в самых общих чертах, обзор основных свойств того бытия и пространства, которое характеризует данный цикл. Но без внимания к его внутренней организации, без учета его динамической природы невозможно вполне уяснить для себя его смысл.

2. 4. В "несобранном цикле" о "русском космосе" можно выделить четыре части. В первую из них входят стихотворения 1830 года "Здесь, где так вяло свод небесный..." и "Через ливонские я проезжал поля...". Это, если угодно, камертон для всего цикла. Обратимся к начальному фрагменту:

Здесь, где так вяло свод небесный  
На землю тощую глядит, —  
Здесь, погрузившись в сон железный,  
Усталая природа спит...  
Лишь кой-где бледные березы,  
Кустарник мелкий, мох седой, Как лихорадочные грезы,  
Смущают мертвенный покой. [I, 31]

Этот мир как будто не знает и никогда не знал о человеке: в каком-то смысле даже эпитет "безлюдный" к нему неприменим.

Дважды повторенное "здесь", местоименное наречие, свидетельствует о принципиальной неназываемости такого

исторически не обжитого пространства, ибо дать имя уже означает сообщить предмету некий исторический импульс. Во всей картине, рисуемой Тютчевым, — недостаток жизненной энергии, дефицит силы и воли, дистония (“усталая природа спит”). Это общее состояние лишь подчеркивается и усиливается во второй строфе с ее противительно-ограничительным “лишь”, настолько эфемерны и потому заведомо бесплодны попытки смутить “мертвенный покой”, нарушить железный сон “русского космоса”. Сами приметы наличной жизни (“бледные березы”, “кустарник мелкий”, “мох седой”) в этом безмянном миропорядке болезненны и уподоблены лихорадочным грезам. Во втором фрагменте цикла уже представлен наблюдатель и вместе с его появлением задан ключевой вопрос о взаимоотношениях природного и исторического (подробнее об этом ниже).

Вторую часть цикла составляют произведения 1848– годов: “Итак, опять увиделся я с вами...”, “Слезы людские...”, “Русской женщине”. Но наиболее полное выражение этого этапа — созданное шесть годами позднее стихотворение “Эти бедные селенья...”. Двадцатым сентября 1844 года датируется возвращение Тютчева на родину. До конца этого года он напишет еще два стихотворения: “Глядел я, стоя над Невой...” и “Колумб”. В концовке последнего будет сказано (с бесспорной проекцией на собственную судьбу):

Скажи заветное он слово —

И миром новым естество

Всегда откликнуться готово

На голос родственный его. [I. 102]

Однако “заветное слово” оказалось найти отнюдь не просто для человека, на протяжении более чем двадцати лет находившегося в отрыве от России. Тютчевское восприятие родной земли во многих отношениях действительно было “Колумбовым”. Поэт молчит примерно четыре года, и только в конце сороковых его творческая активность снова пойдет вверх. Эти четыре года и стали для Тютчева временем постепенного обживания “нового” мира, узнавания и освоения его сущности. Этот во многом драматический процесс воплотился в группе фрагментов, отнесенных нами ко второй части цикла. “Русский космос” — и это главное — начинает осмысливаться исторически. Возникают первые, еще неопределенные проекции, опрокинутые в прошлое, первые ретроспективы: воспоминания о далекой поре детства, грустные раздумья о вековой судьбе русской женщины, по-особому звучащие из уст человека, обе жены которого были иностранками. Русский мир в творчестве Тютчева преодолевает отвлеченность своего существования, обогащается началами и свойствами неповторимого человеческого опыта. Выразительный пример тому — шесть строк фрагмента “Слезы людские, о слезы людские...” Со слов И. Аксакова известна история его создания: “...однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он < Тютчев. — И. Н. > сказал встретившей его дочери: я сочинил несколько стихов, и пока его раздевали, продиктовал следующее прелестное стихотворение...”

Стихотворение это — одна из жемчужин тютчевской лирики сороковых годов — тонко и сложно организовано и воплощает в себе сплошную, непрерывную и очеловеченную стихию русского космоса. Многочисленные повторы (“слезы людские, о слезы людские”,

“ранней и поздней порой”\_ “порою ночной”, четырежды повторенное “льетесь”), система рифм, зеркально отражающихся друг в друге (людские –дождевые, поздней порой –порою ночной, незримые – неисчислимы ), финальное сравнение, где тема жизни природной и тема человека не просто сопоставляются, но как бы “срачиваются”, становятся взаимопроницаемы, общий грустный колорит картины, лишенный каких бы то ни было отчетливых красок и ясных тонов, – все подчинено воплощению единого замысла: показать неразличимость в этом мире природного и человеческого.

О чертах “человечности и народности” писал В. Кожин, размышляя о тютчевском творчестве конца сороковых годов. Может быть, в первую очередь эти черты оказались воплощены в стихотворении “Эти бедные селенья...”. Написанное по пути из Москвы в Овстуг в 1855 году, оно является одним из ключевых в тютчевской лирике произведений, непосредственно связанных с философско-политическими взглядами поэта, с его пониманием России как оплота славяно-православного мира во всей специфике его религиозно-исторической жизни. О социальной обусловленности тютчевских строк писал еще

Д. Д. Благой, полагавший, что они “подказаны не только непосредственными впечатлениями от зрелища угнетенной крепостным рабством страны, но и мыслями о неисчислимых страданиях защитников Севастополя...”. В замечательно тонкой работе Е. Воропаевой “Тютчев и Астольф де Кюстина”, посвященной в основном обстоятельному разбору скрытой полемики стихотворения “Эти бедные селенья...” с рядом положений книги

Кюстина “Россия в 1839 году”, приведены “наиболее характерные” отрывки из последней: “Там <в России – И. Н. > нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и края. Ничего грандиозного, ничего величественного. Все голо и бедно, кругом –одни солончаки и топи” и т. п. Сделав немало сопоставительных наблюдений, привлекая к анализу обширный эпистолярный и историко-литературный материал, исследователь приходит к заключению, что тютчевские стихи являются как бы ответом Кюстину, основанным “на началах народной веры”.

“Стихотворение “Эти бедные селенья...” –ядро зрелой лирики Тютчева, – пишет автор. – Весь комплекс идей, рассеянный по стихам 40-х –60-х годов, публицистике и переписке поэта, сфокусирован в этих 12 строках с необычайной силой сжатости, образности и интимно-личного чувства. “Конечный вывод статьи Е. Воропаевой, думается, все-таки излишне категоричен, а потому и неполон. “Эти бедные селенья...” –действительно стихотворение-ответ. Но Тютчев обращается не только (и не столько) к “Кюстинам новых поколений”, его адресат –Россия, “край родной”, родная земля:

Удрученный ношей крестной  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде царь небесный  
Исходил, благословляя. [I, 161]



Стихи датированы 13 августа 1855 года, трагическим для России периодом Крымской войны. Этот исторический момент и рождает тютчевский ответ, но дается он не столько от имени самого поэта, сколько от имени самой родной земли, родного (но не родимого!) края. Именно родному чувству противопоставляется иноплеменный, неродной, "взор". Рассматривая произведение в системе цикла о "русском космосе", понимаешь, что в нем предпринята попытка противопоставить истории Запада, понятой как неуклонное развитие "гордого" индивидуализма, некий смутно брезжущий апокрифический вариант истории русской, у истоков которой в незапамятные времена был "царь небесный"—Иисус. А спустя четыре года, в октябре 1859, на пути из Кенигсберга в Петербург Тютчев создает два уже упомянутых выше стихотворения под общим заглавием "На возвратном пути". В них столкнутся в непримиримой конфронтации два типа пространства: "горизонтального"— России — и "вертикального"—Европы. Причем и само изображение русского мира, и отношение к нему будут максимально приближены к кюстиновским, а местами едва ли не текстуально совпадать с ними.

Родной ландшафт...Под дымчатым навесом

Огромной тучи снеговой

Синеет даль с ее угрюмым лесом,

Окутанным осенней мглой...

Все голо так —и пусто-необъятно

В однообразии немом...

Местами лишь просвечивают пятна

Стоячих вод, покрытых первым льдом. [I, 178—]

У Кюстина: "Что за страна! Бесконечная, плоская, как ладонь, равнина, без красок, без очертаний; вечные болота, изредка перемежающиеся ржавыми полями да чахлым овсом..." и т. д. Таким образом, стихотворение "Эти бедные селенья..." опрометчиво считать фокусом "всего комплекса идей, рассеянного по стихам 40-х —60-х годов..." (Е. Воропаева). Принадлежа по целому ряду признаков несобранному циклу о "русском космосе", оно раскрывает свой смысл только в единстве с ним, и только учитывая весь контекст, можно объективно определить его место и значение в поздней лирике поэта.

"На возвратном пути"—предпоследняя часть цикла. Коду же его образуют два стихотворения—"Брат, столько лет сопутствовавший мне..." (1870) и "От жизни той, что бушевала здесь..." (1871). Это —итог тютчевских раздумий о взаимоотношениях человека, природы и истории в границах русского мира. Драматически звучит в этих стихах мысль о невозможности закрепить в нем неповторимый исторический опыт личности: "Бесследно все —и так легко не быть! При мне иль без меня —что нужды в том? Все будет то ж —и вьюга так же выть, И тот же мрак, и та же степь кругом. "Мироощущение, воплощенное в этих строках, с полным основанием можно оценить как "гамлетовское" ("...так легко не быть!"), экзистенциальное. Сама атмосфера поневоле напоминает о стихотворении 1829 года "Бессонница": "И мы, в борьбе, природой целой Покинуты на нас самих..." [I, 18] Героическая борьба личности, ее протест против беспредельности, безначальности и безымянности русского космоса заканчивается трагически ("бесследно все"). На "незамеченной" мировой историей земле сам ход времени как

будто утрачивает определенность, откуда —недоуменный вопрос в зачине второй строфы ("И долго ли стоять тут одному?"), откуда же и неуверенность, методом подбора, в определении сроков пребывания в "живой жизни":

День, год-другой —и пусто будет там,  
Где я теперь, смотря в ночную тьму  
И —что со мной, не сознавая сам... [I, 224]

Весь, если угодно, нигилистический пафос приведенных строк особенно оглушительен на фоне близкой по теме и по словарю пушкинской строфы 1829 года: "День каждый, каждую минуту Привык я думой провождать, Грядущей смерти годовщину Меж их стараясь угадать. "

Тема поглощения исторического времени бытием природным еще отчетливее звучит в завершающем стихотворении несобранного цикла. Специально его анализируя, И. Н. Сухих заметил:

"Зыбким, предположительным здесь оказывается не только историческое время и пространство, но и пространство и время природное. "Действительно, "эпилог" цикла как бы конденсирует многие его мотивы. Второй стих, "От крови той, что здесь рекой лилась...", перекликается с целой строфой из пьесы "Через ливонские я проезжал поля..." ("Я вспомнил о былом печальной сей земли, Кровавую и мрачную ту пору, Когда сыны ее, простертые в пыли, Лобзали рыцарскую шпору. ") В более раннем фрагменте картина исторически конкретна и пластична, в позднем — лаконична и предельно обобщена: речь идет уже не о какой-то отдельной исторической эпохе, а об истории в целом, об истории как об имеющем начало и конец событии. Вопрос о бессилии индивидуальной памяти перед лицом Природы был поставлен Тютчевым в стихотворении "Итак, опять увиделся я с вами...". В "От жизни той, что бушевала здесь..." речь идет уже о бессилии памяти общечеловеческой: "два-три" дуба, выросшие на могильных курганах, "красуются, шумят, —и нет им дела, Чей прах, чью память роют корни их". Если в первом стихотворении цикла с "лихорадочными грезами" сравнивались явления жизни природной ("бледные березы", "кустарник мелкий, мох седой"), то в финале как "греза природы" определяется уже бытие человека, "мыслящего тростника", во всей его исторической полноте. Закон "русского космоса"—нейтрализация, а затем и полное растворение любых попыток преобразующей деятельности в принципиально бездейтельном, самодостаточном бытии Природы —дан уже как закон универсальный, не знающий инотолкований и отступлений:

Поочередно всех своих детей,  
Свершающих свой подвиг бесполезный,  
Она равно приветствует своей

Всепоглощающей и миротворной бездной. [I, 225]

Огромна дистанция между пугающей бездной с "страхами и мглами", о которой Тютчев писал в стихотворении "День и ночь" (1839), и "миротворной" бездной —образом, венчающим несобранный цикл о "русском космосе". Между ею и "мертвенным покоем" немало родственного, но немало и отличного. В ранних стихах — пластическое воспроизведение и философская оценка. В поздних — личное духовно-этическое отношение.

Именно так —в сопоставлении крайних точек цикла —вырисовывается

некая модель, некий образ исторической сущности "русского космоса". Не материально-вещественные формы, канонизирующие факт пребывания человека в мире, но духовное усилие, "подвиг бесполезный" – вот что составляет ядро и формирует данный тип исторического сознания. Бездна, хотя и "равно приветствует" своих детей, но приветствует их поочередно. Это последнее чрезвычайно важно. То, перед чем бессильна каждая отдельная личность, в свою очередь вынуждено отступить перед духовной традицией, ибо "подвиг бесполезный", единственное, что противостоит внеисторическому бытию природы, возрождается в каждом поколении живущих, в каждой индивидуальной судьбе.

2. 5. В несобранном цикле Тютчевым был сотворен своего рода миф о русском мире. Но сама возможность именно таких представлений о России явилась лишь как результат взаимодействия в творчестве поэта сложных исторических и эстетических факторов. Н. Скатов указывает, что причислить Тютчева "к какому-то одному литературному направлению трудно. Недаром амплитуда подобных прикреплений у исследователей так велика: от классицизма до реализма...". Однако в основном сходятся на том, что тютчевская поэзия в целом принадлежит романтизму и практически не выступает за его пределы. В статье Н. Берковского читаем: "Ему было свойственно и романтическое чувство бесконечности резервов жизни, ее внутренних возможностей, и другое чувство, тоже романтическое, относительности, стесненности всякой жизненной формы. "Но несколько ранее в той же работе говорится: "Пред ним расстилалась романтическая, становящаяся Европа, и он знал также Европу ставшую, отбросившую романтизм, указавшую всякому явлению его место и время..." Такое "двойное" знание не могло пройти бесследно. Как поэт Тютчев складывался в 10-е – 20-е годы XIX века, в эпоху господства романтического метода. Но сложился Тютчев на рубеже 20-ых – 30-х годов, то есть в период уже начавшегося и все углублявшегося кризиса романтизма, кризиса, охватившего все значительные европейские литературы. Положение Тютчева – положение романтика по происхождению и "школе", оказавшегося в новом контексте развивающегося реализма.

В тютчевской лирике едва ли не впервые для русской романтической поэзии поставлен под сомнение основной тезис романтизма – о реально существующем двоemiрии и естественно вытекающей из него альтернативности всего сущего. Последовательный романтик не считает возможным снятие противоречий между реальным и идеальным, действительным и возможным. Таков, например, Жуковский:

И вовеки надо мною  
Не сольются, как поднесь,  
Небо светлое с землею, –  
Там мне будет вечно здесь.  
"Путешественник", 1809

Или – в пьесе уже 1816 года:

Кто ж к неведомым брегам  
Путь неведомый укажет?  
Ах! найдется ль, кто мне скажет,  
Очарованное там? "Весеннее чувство"

Расчленение мира на "здесь" и "там" – ключевой принцип романтизма,

ось. Взгляд романтика – взгляд по вертикали. У Тютчева чисто романтические произведения появлялись на протяжении всей жизни. Уже в 60-е годы, когда реализм в русской литературе вполне возобладал, он создает миниатюру “Хоть я и свил гнездо в долине...”, где “вертикально” организованный образ пространства (долина – гора) развивает традиционный для романтиков мотив духовной устремленности к идеалу:

Хоть я и свил гнездо в долине,  
Но чувствую порой и я,  
Как животворно на вершине  
Бежит воздушная струя, –  
Как рвется из густого слоя,  
Как жаждет горних наша грудь,  
Как все удушливо-земное  
Она хотела б оттолкнуть! [I, 183]

Но рядом в тютчевской лирике и произведения совершенно иные, объективно разрушающие принцип романтического двоемирия:

С горы скатившись, камень лег в долине.  
Как он упал? никто не знает ныне –  
Сорвался ль он с вершины сам собой,  
Иль был низринут волею чужой? [I, 50]

Что движет мировыми процессами: заключенная ли в самом мире энергия или вмешательство извне, “чужая воля”, “мыслящая рука”? Если истинна первая гипотеза, то закономерен и вывод о единстве и независимости материального мира. Поставленная проблема, по Тютчеву, универсальна: “Столетье за столетьем пронеслося. Никто еще не разрешил вопроса. “Связь этой проблемы с философско-историческим кризисом романтизма тоже очевидна: например, противопоставление гора – долина сохранено, но насколько же кардинально оно преобразовано. Весьма часто используя основные романтические антитезы, Тютчев далеко не всегда дает их истолкование в романтическом духе; лексикон и, так сказать, терминологический аппарат романтизма нередко востребованы Тютчевым для констатаций не просто чуждых, но даже и враждебных романтическому пафосу. “Двойная бездна” (образ рубежа 20-х – 30-х годов) у позднего Тютчева закономерно трансформируется в “как бы двойное бытие”. Это “как бы” ни в каком случае нельзя проигнорировать: мира – два (“Так, ты жилица двух миров...”), а бытие – одно. Обеспечивает же его целостность “человеческое я”, совмещающее в себе романтические противоположности. Но за признанием единства бытия мира неизбежно следует и признание безальтернативности бытия личности, отсутствие у нее права на свободный выбор и, соответственно, на подлинно свободное самоопределение. В этом предпосылки трагических мотивов судьбы, рока, фаталистической, в смысле близком к античному, предначертанности, которыми пронизано тютчевское творчество. Романтическая концепция мира и человека, не соглашающаяся с детерминированностью социально-исторической жизни, базирующаяся на признании того, что свободное волеизъявление личности возможно, пусть даже оно сопряжено с трагическим исходом, разрушается до самых основ.

Личность оказывается закреплена, насквозь детерминирована "как бы двойным бытием". Причем она сама носитель и символ этого единства и потому способна превозмочь его часто невыносимое бремя только ценой самоуничтожения (отсюда и призыв: "Дай вкусить уничтоженья, С миром дремлющим смешай"). Коренным образом меняется характер взаимоотношений личности со временем и пространством. Сознание — не реалистическое, а постромантическое — целостности бытия способствует утверждению взгляда на настоящее как на абсолютную реальность. Оно же формирует иной, не вертикальный, тип организации пространства: онтологического и мифологического, напрочь лишенного исторических примет и перспектив.

Глубокий и всеобъемлющий кризис романтического мировосприятия, о котором идет речь, влияет и на взаимодействие двух несоборных циклов Тютчева — "русском космосе" и "денисьевского". Общее замечание: на протяжении всего становления "денисьевского" цикла, с 1850 по 1868 год, лишь дважды (в 1855 и 1859 годах) Тютчев обращается к теме русского космоса. А ведь в 1848—, в самый канун "любви последней, зари вечерней", такое обращение было неоднократным. Уже этот факт требует осмысления. "Денисьевское" начало — "роковое" и "страдальческое" — не только несовместимо с безымянно-обезличенной стихией "русского космоса", но по ряду важнейших признаков антогонистически противостоит ему.

Главный конфликт в любовной лирике Тютчева 50— годов, драматически обострившийся в процессе развития "денисьевского" цикла, и есть столкновение между романтично-идеальным и реалистическим, социально-детерминированным. Это видно уже в начальном фрагменте цикла "На Нева" (1850).

Вертикально организованное пространство в этой пьесе строится не на принципах романтического двоемирия, акцентированного разделения жизни на "ночное" и "дневное", а на основе столкновения этих понятий в системе единого бытия. В ряде "денисьевских" стихотворений Тютчев, используя привычные для романтической поэзии антитезы, создает тем не менее существенно иной по сравнению с романтическим образ пространства. В том и дело, что непримиримое противоречие между романтичным и реалистическим в структуре именно "денисьевского" цикла не могло быть разрешено только с помощью эстетики; задача эта была по плечу этике. В итоге и формируется "этическое" пространство. Пространственные категории (предел, беспредельность, высота, дно, бездна и т. п.), которые характеризовали европейский, исторически обусловленный мир, привлекаются в "денисьевском" цикле для характеристики внутреннего в человеке и организуют — по аналогии с внешним космосом "ночного" и "римского" циклов — исторический космос духовного бытия личности. Вот лишь некоторые примеры:

Толпа вошла, толпа вломилась  
В святилище души твоей,  
И ты невольно устыдилась  
И тайн и жертв, доступных ей.  
Ах, если бы живые крылья  
Души, парящей над толпой,

Ее спасали от насилья  
Бессмертной пошлости людской! [I, 145]  
"Чему молилась ты с любовью...", 1851

Брала знакомые листы  
И странно так на них глядела,  
Как души смотрят с высоты  
На ими брошенное тело... [I, 174]  
"Она сидела на полу...", не позднее 1858  
Нет дня, чтобы душа не ныла,  
Не изнывала б о былом,  
Искала слов, не находила,  
И сохла, сохла с каждым днем, -  
Как тот, кто жгучею тоскою  
Томился по краю родном  
И вдруг узнал бы, что волною  
Он схоронен на дне морском. [I, 206]

"Нет дня, чтобы душа не ныла...", 1865

Здесь – процесс, который именуется в теории интериоризацией: историческое из сферы вещественной и предметно-пластической переведено в область духовно-этического. Уже само появление второго и другого голоса в тютчевской любовной лирике 50-60-х годов имело исключительные последствия, способствовало формированию того типа "этического" пространства, о котором идет речь. Обладающая обостренным историческим сознанием, живущая интенсивной исторической жизнью личность в неприемлемой для себя аморфной среде инстинктивно начинает творить историю вокруг себя, видя в этом творении единственное средство преодоления пассивности "русского космоса". Первоэлементом исторического бытия и становится в тютчевской лирике этой поры оппозиция Я – ТЫ. Историческое проявляется там и тогда, где и когда возникают отношения между людьми, устанавливается драматическая связь человека с человеком. В этом, по-видимому, одна из точек пересечения Тютчева со Львом Толстым, причина глубокого и сосредоточенного интереса великого прозаика к тютчевской лирике. В "денисьевском" цикле историческое понято как этика, этическое – как история. Только обогатившись таким пониманием, Тютчев присоединяет, уже в 1871 году, к "всепоглощающей бездне", эквиваленту "русского космоса", эпитет "миротворная". Онтологическое, внеисторическое пространство в цикле о "русском космосе" и пространство духовно-этическое, связанное с "денисьевским" циклом, в этом эпитете обретают примирение и успокоение.